



HAL
open science

От упавшего с неба брата до признанного брата: Краткие пометки на полях мансийской литературы

Dominique Samson

► To cite this version:

Dominique Samson. От упавшего с неба брата до признанного брата: Краткие пометки на полях мансийской литературы. II Шесталовские чтения, Община коренного малочисленного народа манси “Тагт махум” (“Люди с Сосьвы”) & Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, Jun 2021, Khanty-Mansiïsk, Russia. pp. 66-91. <hal-04100045>

HAL Id: hal-04100045

<https://inalco.hal.science/hal-04100045>

Submitted on 17 May 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Община коренного малочисленного народа манси «Тагт махум» («Люди с Сосьвы») Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок

II Шесталовские чтения

Материалы Международной научно-практической конференции
г. Ханты-Мансийск, 2021, pp. 66-91.

Краткие пометки на полях мансийской литературы

Доминик Самсон Норманд де Шамбург

Государственный Институт Восточных Языков и Цивилизаций,

Париж, Франция,

dsamsonnormanddechambourg@yahoo.fr

Брат, упавший с неба

Среди пяти способов создания семьи, предполагаемых мансийским фольклором, отсутствовало, по всей видимости, ревнивое ухаживание матушки-России за таёжным народом. С XI века ни самоцветам Урала, ни лесам Югры не удалось разлучить мансийскую и русскую судьбу. В самом деле, Нуми-Торум – небесный дух, семь сыновей которого населяют Землю, – не взял ли наконец русскую в жёны? И православная вера не кочует ли по лесам Югры, натываясь на местных непримиримых духов? Так, в книге Г. Новицкого о православных миссиях XVIII века в краях Пелыма и Конды встречаются манси, которые соглашаются на переход в православную религию при условии, что их традиционные культовые места останутся нетронутыми и что идолы их отцов и прадедов будут крещены с уважением (то есть с золотым крестом); а два века спустя, в 1928 году, некоторые ханты с нижней Оби попросят крест у представителей советской власти, потому что «тайга – колыбель злых духов» (Форсайт). В конце концов Григорий Новицкий, ответственный за соблюдение христианских законов туземными обращёнными, умрёт от рук местного населения, а в 1921 году пелымские манси падут мертвецки пьяны (в том числе ревностные христианские поп и его дьякон) по случаю рождественских пиршеств (Арт Леет).

Там, где Бог ещё долго будет сомневаться в Своих туземных верующих, город (и его последствие – приток некоренного населения) укрепляет свою империю и утверждает в своём воздействии на новые земли с благословения Царя. Как уточняет С. В. Бахрушин о колонизации Сибири: перед просьбой семьи торговцев Строгановых к императору о пользовании «ненаселёнными землями», «тёмными лесами, вдоль диких рек и озёр- и о праве «мстить за несправедливость, выпавшую нам на долю» (то есть мансийское сопротивление), Престол признаёт законность просьбы и необходимость прибегнуть к сноровке казаков. Следуя за богатой семьёй Строгановых, многие новые поселенцы (подчас с сомнительной репутацией) таким образом развёртывают свою пионерскую силу по отношению

к мансийским семьям – пусть и новообращённым в православную веру, колонизация которых постепенно лишает их земель; одни входят в новое общество, частично русифицируясь, остальные переселяются в более отдалённые уголки Югры. И перед злом колонизации манси Табары, лишённые своих земель в пользу русских крестьян, чувствуют себя с той поры «сиротами Царя» (Бахрушин).

Смятение, которое не ускользнуло от путешественника Стефена Соммиера, итальянского ботаника, француза по происхождению, прибывшего в Сибирь в июне 1880 года вести наблюдение за цветами, реками, освободившимися от льда, и туземными народами. Во время своего путешествия среди народов Российской империи Стефен Соммиер ведёт дневник. Что касается Западной Сибири, он упоминает, в частности, самоедов и остяков, а также вогулов, которые «близятся к закату ещё быстрее, чем остяки; их теперь осталось чуть более двух тысяч. Их прошлое было куда более ярким, чем настоящее, и история свидетельствует о вогулах как о защитниках сибирского ханата в эпоху русского завоевания. В эту эпоху они населяли более широкую территорию, и земли, где теперь высятся литейные заводы князя Давыдова, являлись их местом традиционного проживания. Вогулы до сих пор продолжают отступать, потому что в борьбе за жизнь они сражаются с русскими не одинаковым оружием. Они всё больше удаляются в недоступный никому заболоченный район и рано или поздно исчезнут окончательно. Но, подобно финским народам Волги, они оставят след в крови своего покорителя. Большинство вогулов в настоящее время русифицировано и ведёт оседлый образ жизни. Наступит день, когда русификация достигнет такой степени, что они полностью забудут своё происхождение и станут называть себя русскими. Таким образом, мы будем встречать вогулов с русской фамилией, но *de facto* они будут являться как вогулами, так и русскими. Эта ассимиляция вогулов, по видимости, уже произошла в Тагиле, где встречавшиеся мне на улицах русские трудящиеся, и в особенности женщины, казались переодетыми вогулами, настолько было ясно, что в их генеалогическом дереве были туземные предки» (Соммиер). В труде ботаника, как в туземном гербарии, фигурируют зарисовки и фотографии, в том числе портрет вогула, застывшего и втиснутого в пиджак посредственного качества, «одного из тех весьма редких вогулов, умеющего писать и читать и научившего доктора Алквиста кондинскому диалекту» (Соммиер). Стефен Соммиер имеет в виду Августа Алквиста, побывавшего несколько раз в низовьях Оби (1858 1859; 1877; 1880) и ставшего завсегдаем кондинских вогулов. Ему принадлежит несколько сочинений на немецком языке.

В самом деле, случается, что не только иностранцы, но и сами русские начинают осваивать школу туземной жизни. Стефен Соммиер, например, в поисках переводчика в Берёзове познакомился с казаком Матфеем Григоровичем Клипиковым, которого и нанял за двадцать рублей в месяц. Импровизированный переводчик долго жил у самоедов и остяков, языками которых овладел. Впрочем, итальянский путешественник иногда подозревал, что в венах его переводчика, пребывающего постоянно в состоянии опьянения, течёт туземная кровь, настолько он близок к коренному образу жизни, – за одним всё же исключением:

его страшные гнев, наводящие ужас на весь лес и приводящие в оцепенение туземцев. Об этом свидетельствует и доктор Алквист, который заметил, что во время охоты на медведя с кондинскими манси русские часто приносили жертву вогульским идолам: русские и вогульские охотники клялись в верности на морде медведя, делая надрез ножом или откусывая его кожу зубами. Измена такой медвежьей клятве означала смертельный приговор предателю: в конце концов он умрёт растерзанным когтями священного лесного старика, «что, без сомнения, и происходило, по верованиям как русских, так и манси».

Медведь в действительности дорог сердцу каждого манси: он – «младший брат», или – «брат нашей матери» (Ромбандеева). Какой бы ни была тайна его рождения – будь то сын от неизвестного отца, воспитываемый матерью и ставший постепенно мохнатым и когтистым, бежавший от людей, в лес; будь то дочь Нуми-Торума, стремящаяся к земной жизни, которая в результате не смогла вынести мук и пошла бродить по лесам; или же надоедливый жених, от которого дочь Нёр-ойки с лёгкостью избавилась, ибо женщины обладают магической силой превращать мужчин в хищников, – манси считают медведя небесным сыном, спущенным с неба в люльке на железных цепях, или «упавшим с неба братом». Устная литература, отточенная веками и голосами предков, повторяет народу манси ту же самую историю. И охота на медведя является не чем иным, как добровольным пожертвованием небесного сына: «Они мне рассказали, что когда они танцуют вокруг медведя, убитого на охоте, они приносят извинения ему за то, что его убили, и объясняют ему, что виноват в этом русский, давший манси огнестрельное оружие и порох» (Соммиер). Впрочем, медведя не убивают, а «делают его чёрным», как говорят сыгвинские манси (Ромбандеева). Лесной гость – обидчивое существо, которое всё слышит, всё понимает. И когда он вернётся к небесному отцу, тот непременно спросит у сына, хорошо ли приняли его Люди земли. И от ответа медведя будет зависеть удача манси в охоте. А на охоте – значит и в жизни. Вот почему мансийские охотники отмечают медвежьи игрища, о чём свидетельствует обряд, описанный Евдокией Ромбандеевой в книге «Душа и звёзды» (1991). Сначала распростёртое на земле небесное дитя – шкуру медведя с головой – охотники укладывают на лежанку-«люльку». Затем его везут до деревни (зимой на нарте или летом на лодке), исполняя при этом эпические песни. Через этот ритуал перед душой упавшего с неба брата каждый раз обновляется история манси, оживлённая песнями людей. В тайне леса рождаются живые картины, выдвигая на сцену духов-покровителей, формируется коллективное подсознание в свете основополагающих мифов, тесно связанных с искусством. За неимением письменности коллективная память олицетворена игрой: игрой голосов, берестяных масок, движений. Музыка приглашает духов на праздник; герои размахивают саблями своих подвигов; древняя Калтащ оплакивает беды людей, вызывая слёзы у присутствующих; духи описывают семь кругов, подражая бегу солнца. Зрители отвечают на вопросы масок, ставших неузнаваемыми, так как отражают теперь видимые фрагменты коллективного подсознания. В обрядовых медвежьих песнях (*уй-эрыг*) грань между человеком и животным неясна. Сакральный характер упавшего с неба брата живёт как в воспоминаниях детства (в тридцатых годах) Евдокии

Ромбандеевой, так и в свидетельствах её информаторов, Егора Овесова в 1958-м и Анны Номиной в 1984 году. Того брата, имя которого не произносят.

Манси стараются приручить не только младшего брата, но и всё пространство. Таким образом, один герой манси сумел укротить Луи-Вот-ойка, Северный ветер, раздробив стрелой половину его нижней челюсти (Чернецов). Что касается молодого Эква-Пырища, он покорил ночь, украв у Хуль-Отыра солнце и месяц, оберегаемые в Нижнем мире («Легенды и мифы Севера», 1985), и сила его во время гребли смогла поднять ветер и волны («Легенды и мифы...», 1985). При этом молодой Эква-Пырищ остерегается глазастого чёрта, забравшегося в лодку, чтобы съесть молодого манси; но его тётка ему разъяснит, что глазастое чудовище не кто иной, как большой осётр, отданный ему стариком, и что старый рыбак в челночке, украшенном красной охрой, – его дядя, Тапал-ойка. Манси никогда не остаётся один в мире.

С Земли (Калтащ-Эквы, которая является сестрой и супругой Нуми-Торума) можно видеть других братьев и сестёр Духа Неба: солнце (Хотал-Экву), луну (Этпос-ойку), огонь (Най-Экву). Эти загадочные силы природы, которые живут рядом с человеком и которым манси приписали людские черты, помогают человеку, умеющему чтить их суровое величие, их щедрость. Через ритуал человек ведёт диалог с богами. Это постоянное желание обмена с природой выражает стремление манси стать неотъемлемой частью Вселенной до полного растворения в ней. В мире устной словесности герой превращается в птицу или в горностаю, расчленяется и вновь собирает части туловища, путешествует по всем уголкам света, но возвращается домой к своим; нярки и чулки сами бегут на зов своего хозяина и т. д. Подобно дереву, облысевшему осенью, подобно гусям, улетающим на север весной, подобно солнцу, угнездившемуся на самой макушке неба, человек живёт по законам природы. Он является составной частью окружающей его среды: так, у женщины «по одной косе соболя бегут, по другой косе птички порхают» (Чернецов), у мужчины «на голове беркут гнездо свил» (Чернецов). Символ этой таёжной культуры имеет черты весьма популярного героя манси – Эква-Пырищ, называемого также Мир-суснэ-хум, то есть «за людьми смотрящий человек» (Чернецов), или Лувын хум, «человек на лошади» (Ромбандеева). По сказкам кондинских манси, Эква-Пырищ/Мир-суснэ-хум родился в отсутствие отца, за каменной дверью, за железной дверью горы Нижнего мира, куда сердитый Нуми-Торум сбросил свою жену («Легенды и мифы...», 1985).

Зарисовки и пережитки этого мира можно найти в произведениях Ювана Шесталова, на глазах которого «произошли почти все великие потрясения, поставившие мансийский народ на грань гибели» (Огрызко). Зарисовки, потому что они не живые, не принесённые словом, а неподвижные, письменные. Время летит как стрела, создавая дистанцию между сказкой Ась-ойки и книгой своего внука. Даже если писатель Шесталов талантливо воскрешает бывший дедушкин мир, Ась-ойка уносит этот традиционный мир с собой в могилу. Например, в тексте, переведённом на французский язык под названием «Tout cela à cause de Svetka» («Европа», 1978), или в «Прощании с богами» («Под радугой Севера»,

1986), мир Ась-ойки является радужным, и старый манси находит своё место во Вселенной. Он – обладатель секретов природы и знания народа. Он несёт коллективную память рода, морщины своих предков, бремя былых переселений, павших и воскрешённых героев, мощных духов-покровителей (най-отыр), проигранных или выигранных битв. Подобно борьбе Эква-Пырища с русским богатырём, во время которой молодой манси, расчесав волосы грозного богатыря, перерезал ему горло «большим русским ножом» (Чернецов). Ась-ойка – волшебник, способный воскресить из старых сказаний красоту лошадей, бесконечные олени стада, ловкость эпического героя, останавливающего полёт стрелы и наряженного в собольи шкуры. Неподвижные персонажи оживляются при звуке его голоса, язык так же богат, как и золотая нить, ткущая сказку. Наподобие Эква-Пырища, который околдовывает других песней или танцем, Ась-ойка пленяет детскую душу, задавая загадки. Он и смотрит на жизнь как на загадку. Старик воплощает не только всех предшествующих сказителей, но и всех будущих. Он одновременно и наследник, и потомок каждого поколения с того священного дня, когда люди взяли слово. У кого? У духов, его создавших: Калтащ-Эква, которая придумала населить и оживить качающуюся землю, укреплённую ремнём Нуми-Торума; Тапал-ойка, вырубивший из лиственницы семь человеческих подобий; Нуми-Торум, велевший создать человека и пустивший на землю оленей, чтобы люди на земле смогли себе промышлять пищу. Слово-песня в северном сиянии дарует власть над миром, и целый ряд мифов и сказок имеют сакральное значение, «которое отчасти не утерялось даже и до настоящего времени. В связи с этим рассказывание таких сказок связано с рядом запретов. Так, некоторые сказки не могут быть рассказываемы человеку, не принадлежащему к данной фратрии, и в первую очередь зятю, как наиболее конкретному представителю противоположной фратрии. Многие сказки не могут слушаться женщинами, а также мужчинами, у которых живы родители» (Чернецов).

В тексте «Прощание с богами», составленном из глав книг «Сибирское ускорение» и «Самая чистая радость», Ась-ойка уже умер, а во французском переводе («Tout cela à cause de Svetka») Ась-ойка ведёт одинокое существование. Он живёт в глубине тайги, далеко от людей, населяющих теперь деревни, куда были «сосланы» семьи охотников. Теперь он близок к Тагт-най, богине Сосьвы, к домашним родовым идолам, к тайге. Даже в случае болезни старик не отправляется к *дохтурнай*, а полагается на проточную воду Сосьвы, в которой Тагт-най нашла свою колыбель. Ась-ойка не хочет покидать свой паул, иначе паул станет сиротой и тайга станет дикой. В действительности Ась-ойка живёт в мире, уже недоступном его внуку Тимке, в мире, где вернейшей подругой его является выдра Светка, соединяющая его, таким образом, ещё сильнее с Тагт-най – священным лицом Сосьвы.

Мир Ась-ойки, отказывающийся от какой-либо границы с миром природы, связывает старика с духами. Мир Ась-ойки, отрицая пространство, связывает будущего советского писателя Шесталова с фольклором своих: «На седьмом небе растят Медведя – Нуми-Торума сына. / В светлом доме лелеют Медведя – Духа Лесного / Он отца своего, Нуми-Торума, умоляет: / Отпусти ты меня, отец, на

зелёную землю, / На зелёную землю из ярко-зелёных сукон. / Отпусти ты меня, отец, на красную землю, / На красную землю из ярко-красного шёлка. / Отпусти на счастливую землю, где живут люди! / (...) Отковал небесный кузнец красивую люльку / Изукрашенную серебряными ободками / И железную цепькрепко-накрепко привязал к ней / Вот зовёт Нуми-Торум сына – Медведя, Лесного Духа / говорит: «Ты ложись, сынок, в красивую люльку! / Опускает Нуми-Торум железную цепь с седьмого неба / Как серебряные рубли, цепь звенит, с облаков спускаясь. / (...) Вот шагнул Медведь-сын из люльки на зелёную землю: / Сюда ступит – топь-болото; туда ступит – / Вода брызжет. / По всем семи уголкам лесной чащобины бродит. / (...) Вот однажды, сквозь сон дремучий, он слышит: / Где-то, рядом совсем, захлебнулась лаем собака / С небольшого лосёнка величиною. / И потом ему ветер весть приносит, / Что три рослых человеческих сына / Убивающих первыми первых казарок, / Натянули луки свои тугие. / (...) Лишь потом очнётся душа Медведя, / В человеческом доме она проснётся... / (...) Расстегнули охотники пуговицы на шубе медвежьей, / Сняли шубу мохнатую с могучего зверя, / Положили его в люльку из ивовых прутьев / С пятью ободками из рябины, / Усадили на шестилапую нарту / И подвозят Медведя к деревянной деревне. / (...) Поднимают зверя с шестилапой нарты, / Осторожно в избу его вносят. / Там усаживают его с почётом / На столе, красным сукном покрытом. / И сидит среди счастья зелёного шёлка / Голова Медведя с большими зубами. / (...) Духами призванные, пять ночей никуда не уходят люди, / Небом призванные, семь ночей веселят они зверя / – Перед ним они пляшут крылатые пляски, / Громкой песней хвалебной его величают. / Дерево с семью жильными струнами берут в руки, / Дерево с семью струнами – журавль мансийский. / (...) Люди молятся на него, пляшут возле него, / Песни хором поют, возвеличивают, / Чествуют!» (Шесталов).

И когда занавес наконец опускается и Медвежьи игрища заканчиваются, хозяин дома, тот охотник, который нашёл и пригласил упавшего с неба брата, носит траур по небесному сыну несколько дней, лелея надежду на его возвращение.

Траур, который скоро станет вечным. В тот день, когда небесный потомок, сверзившийся на несовершенную землю, брат с лицом, таким же мохматым, как и лицо русского мужика, упавшего в другом конце неба, почитаемого попами с момента его многострадального спуска на землю и напоминающего вогулам, из-за его обрамлённой богато украшенным окладом головы, неподвижную голову медведя, наблюдающего в окно посвящённые ему игрища, когда этот небесный брат же будет выгнан и его культ запрещён. Это не значит, что человек, то есть вогул, с медведем поссорились ещё раз (Сазонов, Конькова). Нет, просто земля содрогнулась. В самом деле, на земле, усеянной озёрами, шиповниками и черешнями, на которой медведь оставил свой след, время разлетелось на куски. В безвозвратном пространстве, где парил глухарь, государь тайги, «небо стало говорить»: другая птица, огромная, железная, появилась. Жужжание которой заполнило небесный свод (Шесталов). Младший брат вогулов больше не нашёл своё место в Новой Жизни, рисованной чужими людьми. Для них лес не был домом, а зверем, которого эти посланные самим провидением люди скоро

превратят в богатство для самих вогулов. Таким образом, разведка, открытие и эксплуатация первых нефтяных месторождений в конце 1950-х – начале 1960-х годов повлекла за собой строгое запрещение Медвежьих игрищ. Молодой Еремей Данилович Айпин, например, присутствовал в последний раз на Медвежьих игрищах в 1961 году, ему было тогда 13 лет (Огрызко). Потом остались только фрагменты пляски, украденные в тайне ночи. Тогда старик, зачавший род и заботившийся о людях, молча удалился. Потому что таёжные люди стали теперь грамотными и перестали обращаться к нему, под угрозой упрёков, подчас грубых, нового «образцового брата». Ревнуя к прошлому вогулов, чужие люди представили себя провиденциальным братом манси. И этот неожиданный брат поклялся всеми богами, что на этот раз земля станет действительно красивой. Что если бы какое-либо небесное божество случайно свесилось с неба, оно непременно бы увидело «красную землю, красную землю из ярко-красного шёлка, счастливую землю, где живут весёлые люди» (Шесталов). Где больше никто не поранит себя, как в прошлом медведь манси.

Образцовый брат

«И есть русские... Они учат манси различать следы мыслей на бумаге. И говорят, что они лучше шаманов умеют лечить больных. Дедушка мой этому не верил. Он сомневался: разве могут какие-то лекарства колдовать лучше шаманов. Дедушка произносил это тихо, так, чтобы мой отец не слышал. Мой отец – большой человек. Он не только рыбак и охотник, но и председатель колхоза. Коммунистом называли моего отца, Атю» (Шесталов). Эта двойная жизнь манси, подчёркнутая популярным писателем, выходцем из этого народа Северной Евразии, свидетельствует о трудностях сосуществования столкнувшихся октябрьской революцией поколений, об удалении сынов от отцов своих и в конце концов – о будущей пропасти, наметившейся между целиком и полностью выдуманной советской властью туземной интеллигенцией и самим народом. Безвестному традиционному обществу лесных рыбаков, охотников и оленеводов пришлось сдаться солнечной мечте Ленина. «Солнце-Ленин» (Вылка) снял мансийские солнце и луну, чтобы осветить «арктическое невежество» идеями Новой Жизни, наподобие богатыря-в-облике Жёлтой-Трясогузки, вырвавшего небесные светила из Нижнего мира и разогнавшего, таким образом, первобытную ночь на земле людей. «В глухой деревушке на реке Сосьва, где охотник и рыбак манси Пётр Шешкин простым охотничьим ножом вырезал из дерева скульптуру и показал изумлённым сородичам: *Ленин на Севере*. И люди приняли – всё верно, всё правильно, так и должно быть. Ленин в малице. Это чтобы ему теплее было на Севере» (Айпин).

И вдруг незнакомые слова, с прописной буквы (План, Совет, Враг Народа, Новая Жизнь), и тысяча новых сокращений – настоящие «сторожевые вышки словарей» (НКВД, ОГПУ, РАПП, ИТЛ и т.д.) – заменили великанов-людоедов, расставленных, как знаки препинания в устной литературе таёжных болот, смели неуверенность в завтрашнем дне, который слишком часто зависел от совершенного исполнения ритуала и доброй воли родни Нуми-Торума. Таёжное воображение и народное знание были приобщены в тридцатых годах к

«цивилизованной культуре» через введение письменности, основанной сначала на латинском алфавите, а затем на кириллице; но способна ли эта революционная парадигма отразить непреходящий характер таёжной культуры и её носителей? В рамках создания литературного языка, не способного к отражению *Weltanschauung* всех диалектных и культурных фрагментов микрообществ, одновременно родственных и чужих друг другу, самовыражение непременно порождает вопрос: «Вытерпит ли бумага слово моего народа?», – так справедливо спрашивал себя Юван Шесталов («Европа», 1978). Ужесточение советского режима в конце 1920-х – в начале 1930-х годов (так, писатель-новатор Пантелей Еврин, кондинский манси, и его семья, считавшаяся кулачной, пережили мрачные часы), эскалация насилия между властями и туземными семьями в вопросе о праве на образование детей, упорная и жестокая коллективизация – одним словом, перераспределение противостоящих в Северной Евразии сил не осталось безучастным к вопросу Ю. Шесталова и оставило глубокий след в коллективном подсознании.

Мансийские писатели, как говорящие на манси, подобно сказительнице Анне Коньковой из рода Чайки, так и не говорящие, как Андрей Тарханов, например, не пишут на своём языке. Наиболее известный из них, Юван Шесталов, писавший в течение долгого времени по-мансийски, выбрал в конце концов русский язык. Очевидно, мансийский язык не был интегрирован в момент перехода к письму. Он остался волей-неволей чуждым к тексту; при том, что в 1989 году 31,4 процента манси принимали мансийский язык за родной. Вопреки ограниченному числу говорящих и читающих, несмотря на двусмысленное отношение советской власти к национальному достоинству, которое она одновременно и прославляет, и стандартизирует, несмотря на близость, особенно кондинских манси, насчитывающих большое число писателей, к русскому миру, манси завоёвывали из года в год новое пространство для самовыражения и целиком и полностью выдуманную элиту. В то время как традиционный мир манси был обезглавлен с экономической точки зрения, через отстранение от власти богатых семей и шаманов, с точки зрения духовности, в то время, как его костяк, а именно социальные структуры, был разрушен без угрызения совести, писатель символизировал ту связь, которая отныне должна была объединить Государство с каждым отдельным народом Севера и письмом, предполагаемым стать открытым окном в мир – «новым путём» (*Il'pil'onuh*).

Итак, родился в тени Партии писатель Пантелей Еврин (Чейметов), творчество которого является единственным следом, дошедшим до нас. В огромной стройке Советского Союза даты растерялись. От его рождения до кончины остались официально лишь его краткое пребывание в Ленинграде и болезненный флирт со смертью: дважды ранен на фронте, затем следует безуспешная попытка покончить с собой на почве личной драмы. Его произведение «Два охотника», опубликованное в 1940 году на русском и мансийском языках, свидетельствует о рождении мансийской литературы и о самоопределении человека, такого, каким представлял его себе писатель Пантелей Еврин, стремящийся стать связующим звеном между его миром (он

выходец из семьи охотников-рыбаков) и образцовым братом. В октябре *два охотника* охотятся на медведя, как некогда на упавшего с неба брата.

Эта краткая повесть построена вокруг восьмидневного совместного заточения. За запертой невидимой дверью бесконечной тайги, с которой, однако, постоянно сталкивается молодой русский Василий, для него такая охота является первой. Поединок между молодым человеком и шестидесятилетним манси Трофимом, единственным хранителем древнего мира (его близкие, уже вступившие в колхоз, настаивают, чтобы он тоже отважился), олицетворяет две соперничающие в Северной Евразии стороны. Они меряются силами посредством двух персонажей, которых разделяет всё: конфликт между старым и новым, обращённым в христианство анимистом (он почитает культ медведя, но это не мешает ему креститься) и атеистом, таёжником и горожанином, индивидуумом и коллективом, манси и советиком; каждому необходимо было найти своё место, не устраняя при этом другого. Но основной замысел ясен, как, например, в произведении ненца Николая Вылки «Марья» (1938), осуждающем недобросовестных иностранных купцов (они на самом деле не русские, а норвежцы), которые умышленно приносили водку ненцам в обмен на меха: старый мир сам обрёл себя, и спасать было нечего. Сам Трофим, «бедняк манси, не раз ссорился с торговцами, которые надували его. С тех пор он как-то с недоверием смотрел на русских» (Еврин). Нечего было ожидать от «иностранца», ставшего подозрительным, в то время как «враги народа», новое понятие, рыскали по Родине как настоящие злые духи. Только Партия, этот образцовый брат, в азарте создания и поиска семьи, была бы способна узнавать своих. И мелодия марша, далёкая от песен Медвежьих игрищ, была не чем иным, как гимном Советского Союза: «Говорил товарищу, что в колхозе жить куда легче, чем одному. Вспомнил он об уборке хлеба, о том, как весело жужжит молотилка. Заговорил о стальных конях – тракторах, о весёлых громких песнях девушек, когда они отправляются поутру на работу» (Еврин).

«Два охотника» – это активный, воинствующий текст, умножающий символы через образы: «Весь октябрь стояла тишина. Небо было чистое и светлое. Иногда набегали тёмные снеговые тучи, но скоро уходили прочь» (Еврин); «Женился второй раз на девушке мансийке и перебрался из далёкой русской деревни в мансийский посёлок – на родину жены» (Еврин); «Наши руки теперь крепко сжаты. Ты меня не бросишь, и я никогда не отстану» (Еврин). Отважным актом является такой рассказ, тогда как недавние события, следовавшие одно за другим под сибирским небом, выражают другую точку зрения: смута на Тольке (1931–1932); казымское восстание (1933); Ямальская мандалада (1934); вежливые сожаления Мая Солинтэра, богатого ямальского оленевода (3 500 оленей), официально заявляющего: «Судей ваших и советскую власть не признаю, у меня свои законы» (Головнёв); проклятие матери Нины Ядне, которая умерла «с неприязнью к советской власти» (Ядне); нестерпимое отчаяние мансийских семей, отказывающихся верить государству в воспитание своих детей (Базанов и Казански). Брат этого светлого Октября, который мечтал о повсеместной коллективизации, о борьбе с шаманизмом, о школе, столкнулся с реальностью. Реальность, где изгнание некоренного населения (спецпереселенцы) с 1930-го по

1934-й, сгладили масштабы русского присутствия в Западной Сибири: более 50 000 крестьян было сослано и принуждено к работе на стройках Севера (Головнёв), как, например, строительство столицы угорских народов – города Ханты-Мансийска. Если в 1930 году на общую численность (41 489 жителей) округа приходилось 28 процентов хантов, 12,6 процента манси, 3,2 процента лесных ненцев и 6,6 процента коми – русские при этом составляли 49,3 процента, то начиная с середины 1960-х годов ханты и манси насчитывали всего лишь 8 процентов от общего населения округа. Открытие богатых газовых и нефтяных месторождений привлекло за прошедшие 30 лет более миллиона жителей, и новые города во славу прогресса человечества вырастали, как по мановению волшебной палочки: на 1989 год ханты составляли всего лишь 1,8 процента и манси – 0,6 процента. Дело в том, что примерный брат хочет жить по-своему (оседлость, атеизм и т.д.); окружающий мир должен быть похож на него, и на каждой площади нового города – каменный Ленин, старший брат, который никогда не боялся, наблюдает продвижение работ.

В отличие от мансийской традиции, которая основана на культуре предков-покровителей, молодое поколение теперь преподаёт старому. Новая Жизнь с лёгким сердцем отметаёт бесполезный опыт веков, предавший людей, обманувший надежды. Этот текст П. Еврина, «Два охотника», будет вновь издан в 1983-м в сборнике, объединившем первых писателей Севера, под откровенным и недвусмысленным названием: «Второе рождение». Настоящая жизнь манси будто бы начинается с приходом советской власти; най-отыр, или духи-покровители, стоят лишь в авангарде спасительной Красной Армии, прежде чем попасть в фольклор, что равнозначно преданию забвению. Югорское небо, изнасилованное, оплакивает мёртвые звёзды, души свои: «Птица жёлтая ночная / Видит нынче при луне, / Как, рубиново мерцая, / Звёзды плавают на дне» (Тарханов). Бессмертные герои культа предков отдали богу душу-звезду, и образцовый брат захватил её. Если манси утверждали, что на небе столько звёзд, сколько людей на земле, и что упавшая звезда – это умерший человек, то Партия превратила звёзды в красные знаки, направляющие людей в ночи разума, в борьбе с самим собой: «Теперь мы – не тёмный народ, узнали мы и наше прошлое, и будущее. Это нас Коммунистическая партия новым мыслям научила. Она нас и к хорошей жизни, к светлым дням привела» (Еврин). Бог умер не только в Палестине, но и в России. И религиозные табу, касающиеся женщины, развеялись постепенно, идеология одержала верх как над небесным бегом Лувин-Хума, всадником справедливости, так и над сомнением стариков. Священная лиственница на берегах Малой Юконды, у которой шаман когда-то спилил верхушку и в дупло которой «старики и старухи, как в копилку, спустили всё, что у них было самого ценного и дорогого, – кто деньги, кто петуха, кто новый шёлковый платок» (Вахрушева), была срублена сельским Советом. Стояла цель: искоренить шаманизм. И это удалось: в созданном в 1930-х годах Ханты-Мансийском автономном округе главными религиями являются теперь православная вера и ислам.

Советские достижения стали новыми хозяевами тайги (плотина, нефтепровод и вышки). Торжество Союза – «День и ночь, как мамонты живые, / По земле

шагают буровые, / Как упряжки длинные олени, / Мчат газопроводы сквозь селенья. / Сквозь леса и тундру, через горы, / Через злые топи Самотлора» (Шесталов) – плод вдохновения думающей головы Партии и рабочего костяка советского труженика. Человек, зачаровывая манси, находится в сердце технологических революций, как когда-то в его детстве вызывало восхищение белое полотно кино, на котором Чапаев вновь сыграл свою жизнь. И подвиги машин изгнали местный дух: Сосьва, блюстительница и приёмная мать с незапамятных времён, стала простой рекой, оказавшейся под угрозой плотины из «Сказки в синий полдень» Шесталова. Сын убеждён в том, что нужно и что можно создать богатое и светлое будущее для манси и всех остальных детей «матери-страны». Стилизованное мансийским писателем нефтегазовое освоение приобретает волшебную красоту и вызывает справедливую гордость, которая скрывает секретные раны обезображенных культур. В то время, когда октябрьская революция дарила письменность и писателей народам Севера, она конфисковывала в обмен слово самого народа. И перед мощной рукой Красного царя, простёршейся на всю тайгу манси, Пётр Михайлович Хатанев из Саранпауля надолго похоронил свои воспоминания внутри себя («Мир Севера», 2001). Мужчины, переговаривающиеся шёпотом, чтобы не спугнуть Водяного хозяина, прекратили шеп-танье, женщины, беседовавшие еле слышным голосом, дабы не напугать рыбу, прервали свой тихий напев (Сазонов, Конькова, 1982): тайга официально лишилась души.

Так, в молчании людей и в грохоте технологии, высокочтимый мансийскими родами древний лес постепенно испортился: деревья в загадочном огне, будто факелы, предоставляют свободу действий лесной промышленности; традиционно добываемая рыба окажется отравленной или странно мутированной под влиянием промышленных отбросов; коренные лабазы, которые никогда не знали замков, будут ограблены или уничтожены – являясь помехой стройке или подчас из-за простого безделья. Там, где когда-то струились прозрачные воды рек, теперь потоком льётся водка. «В стальных артериях нефтепровода стала течь кровь мансийской земли: чёрное золото». Перед утратой своих земель манси стали охотиться по-другому.

Теперь охота появилась в больших городах. Не та охота, упомянутая в девятнадцатом веке испанским дипломатом Хуаном Валера: «Я боюсь, как бы герцог д'Осуна, который так рассеян и так же близорук, как и я, не выстрелил в царя или в одного из его Великих: поскольку они одеты в шкуры, герцог легко мог бы принять их за медведей. В окрестностях Санкт-Петербурга, кроме медведей, охотятся также на волка и на лося» (Валера). Нет, по улицам Ленинграда «сиротливый манси» двигался как охотник в тайге, но стараясь при этом уловить слова. После запрета Медвежьих игрищ охота Ювана Николаевича, утратившая священный характер, последовала линии Партии и примкнула к делу Партии, зачатоу пером первых писателей Севера, развивавших «гражданские» темы в своих произведениях. Не писал ли Пантелей Еврин как на манси, так и на русском, что «в колхозе есть кому помочь тебе. Станем с тобою колхозниками и вместе будем охотиться» (Еврин). Для Ювана Николаевича Шесталова охота не была напрасной: лауреат Государственной премии РСФСР имени Горького (1981),

награждён орденами Дружбы народов (1984) и Трудового Красного Знамени (1987). Социалистическое соревнование, приведшее в беспорядок календарь народов Севера, завоевало и литературу. Брат, кожа которого столь же бела, как и «нежная рыба» мансийского народа, имеет железную волю. Так, в области литературы туземный мир был интегрирован только на поверхности, но суть вещей рассеялась в молчании древних коренных табу и в болтливой пропаганде этого времени. Впредь, удаляясь от сакральности, падение в ад героя Мирсуснэхума отражает мирской дух: «Моя молитва собольим мехом уже не стелется. Мои глаза высохли, как осенние реки, я уже не могу плакать слезами. Пришелец с живой земли, выслушай мой замирающий стон. Два начала на земле – это волки и олени. Зло с добром, как волк с оленем, всегда враждуют. Волка кормят волчьи ноги, и зубы у него, как железо, охраняют волчье логово. Олень беззащитен, как простой рыбак перед купцом, как охотник перед сборщиком ясака. Осетра в сажень берёт купец за медную копейку. А ясак ... Вспомнить страшно! Десять соболей с живой души, да ещё *на поминки*, да ещё для *поклона царю белому* ... Наши лучшие уголья отобрали, сменив на бутылки огненной злой воды. Обложили наши дымы данью. Чёрной птицей пролетела смерть, посылая нам болезни» (Шесталов).

Резкие изменения, как культурные, так и экологические, кажется, интегрируются гармонично. И потоки чернил, текущие из Санкт-Петербурга, и волны нефти, бьющиеся о дальнюю тайгу, вдруг сливаются на глазах писателя. На глазах, часто закрытых, Ювана Шесталова, почерк которого несёт отпечаток сновидений и является очевидным наследником традиционной формы шаманизма и духовности в целом. В тексте «Прощание с богами», например, сон вездесущ: «А мама была где-то рядом. Она часто являлась ко мне во сне» (Шесталов); «Этот другой – и тоже привычный – голос пытается вернуть меня из светлого сна в моё горькое утро»; «Эти слова баюкают меня»; «Утки летят в голубом моём сне»; «Просыпаюсь»: «Я засыпаю»; «И снится мне жаркое лето»; «Вдруг сквозь радужный сон слышу чьи-то голоса»; «А утром проснулся в интернате, среди таких же, как я ребят»; «Ещё три ночи мне снились боги»; «То ли от этого адского холода, приснившегося мне, то ли от внезапного гудка теплохода я проснулся»; «Меня снова потянуло в сон». Перепись таких примеров может оказаться бесконечной. Лексическое поле описания сна насыщает текст. Этот мотив шаманизма, связанный с ритуалом, характерен для устной литературы и проявляется в постоянной гиперболе сказки и эпической песни, герой которых часто является младшим, глупейшим или ленивейшим братом, где богатыри борются, а затем спят целый год, три, семь лет. Одну зиму, потом одно лето, ещё другую зиму и три последующих лета и т.д.

В литературном Советском Союзе сон также позволяет выразить то, о чём невозможно сказать. В глазах атеистического мира мечта – это всего лишь мечта. И когда рассказчику, «человеку двадцатого века, века научно-технической революции», снится дух его предков, дух жалуется на то, что он обречён на блуждание, потому что он больше не может найти ни одного новорождённого, под чертами которого ему удастся вернуться к своим: в самом деле, ритуалы больше не уважают, культ предков и традиционное народное поверье

игнорируются. Вот почему книга Евдокии Ромбандеевой «Душа и звёзды», посвящённая «преданиям, сказаниям и обрядам народа манси», была просто необходимой. «Это сделано мною для того, чтобы каждому, кто пожелает, можно было бы провести тот или иной обряд от начала до конца... Такое изложение важно, потому что вера нашего народа несколько десятилетий находилась под строгим запретом. Молодёжь многое из неё утратила, не застала того, что было до 30-х годов XX столетия» (Ромбандеева).

При чтении Шесталова складывается, однако, впечатление, что его сны одновременно и кормят писателя, и защищают человека от внешнего мира. Рассказчику «Прощения С богами», находящемуся в одиночестве в каюте, хочется сохранить хладнокровие. Его обжигающее горло передаёт диалог с духом Лылы, отражает стеклянные осколки, которые до сих пор ранят душу внука Ась-ойки, и повествователь «потянулся к стакану с минеральной водой, как к спасителю от кошмарных сновидений». Потому что «есть вино и водка. Но минеральная вода не мутит голову. Трезвость, ясность мысли...». Встаёт вопрос: как совместить принадлежность к народу манси и советскому народу? «Больше не верить слову шаманов..., но не суметь избавиться от предков, живущих в душе моей». Быть туземцем и не пьянствовать. Быть туземцем и не быть предателем Родины. Тот, кто черпает свои слова в сиянии своего детства, не хочет страдать. И сон обезболивает его страх. Убаюкивает его тайную боль. Навевается сон на ссыльного, мечтавшего обнять целую Вселенную. Сон Шесталова объединяет настоящее время, прошлое и будущее, прозу, стихи, мансийский и русский языки, наблюдает то, о чём человек умалчивает, «соблюдая наш древний мансийский этикет». Сновидениями, одним росчерком пера Шесталов соединяет антиномические миры друг с другом и в то же время вычёркивает боль тех, грязные рубашки которых собраны в музеях и черепа которых дарятся, как сувениры, культурными народами (Шесталов). И в этом стремлении к воплощению связи мансийский писатель продолжает творение зачинателя Пантелея Еврина.

1978 год. Вышла повесть «Анико из рода Ного- ненецкой писательницы Анны Павловны Неркаги, описывающая возвращение советской героини в родную тундру под опеку родового идола. В деревне Елизарово хант Еремей Данилович Айпин встречается со свидетелями гражданской войны, и через рассказы, противоречащие официальной речи, он открывает поцелуй красного Иуды. В это время, на фоне беспорядочного промышленного освоения, «Языческая поэма» Ювана Шесталова удостоивается Государственной премии (1981):

«– Земля моя! Какая у тебя песня? Тайная моя! Какая у тебя сказка?

– Песня моя – нефть. Сказка моя – газ. Загадка моя – это я сама,
– ответила тайга, не замечая над собой ярких сполохов северного сияния.

Я не стал больше спрашивать, ведь шла вторая половина сложного двадцатого века. Люди были героями, покорителями природы и космоса. Я решил пойти и послушать... Ледяная земля проснулась от вековой спячки. Она разгорячённо дышала, снимая с себя шубу из дремучей

тайги, опоясываясь стальными нитями дорог и трубопроводов. Она гудела под железными копытами нового кочевья. С радостью наряжалась в ожерелья городов, сияя счастливыми глазами новых огней... А герои шли, шли, шли... И я был вместе с ними. Я тоже был героем. И мои уши глохли от железного рокота: не всё я мог услышать. И мои глаза слепли от яркого сияния огней: не всё я мог увидеть. И я летал на стальных птицах, обгоняя время, не чувствуя движения Земли...»

Он хотел примкнуть к другому миру, через соединение в мансийском небе полётов глухаря с чёрными крыльями и мощного вертолётa Ми-6, с газопроводом в железных когтях. Юван Шесталов, может быть, стал метисом? Манси в Питере и русским в стране Сосьвы? Скорее, хомо советикус? Писатель, который задумал интегрировать в свои произведения мир Ась-ойки и поцелуй Иуды, изнасиловавший «звёзды» народа манси, закрыл глаза и мечтал о мире: не из-за жестокости ли ударов, наносимых его культуре? Или из-за его отказа от выбора между двумя родинами? Тот, кто давным-давно покинул свою землю, чтобы уловить и постичь слово, наподобие Эква-Пырища, ушедшего из тётиного дома и ставшего хозяином своей судьбы, «стал слушать себя» (Таксами). И тем временем спящая красавица, которую русский богатырь должен был оживить поцелуем, кровоточила при вздохе. *Красная легенда на белом снегу* пошла по ложному пути: вуаль упала, обнажив божью *Матерь в кровавых снегах*. Поцелуй Иуды ускорил конец мира Ась-ойки.

Признанный брат

Медведь, древний брат, упавший с неба, преследует не только воспоминания Матри Вахрушевой: «Впереди на снегу что-то краснеет, как кровь. Вот как! Кто-то топтал ягоды, размазал их по земле: где ел, тут и набезобразничал. Кто способен на такую шалость? Поднял отец доску, а в карусе сидит медведь. Затаился. Увидев Отца, как заревел и лапу поднял, чтобы ударить. Выстрелил отец в него, убил с одного выстрела. Сидим мы в избе, ждём отца, вдруг слышим выстрел. Догадались сразу, что будем есть сегодня медвежье сало» (Вахрушева), – но и анонимный сон охотника: «Не ведал, наверно, таёжник, / Куда свои силы девать. / И в прятки со смертью нарочно / Ходил он в урманы играть. / Опять свои страшные меты / Несёт он в себе за увал. / И снятся ночами медведи, / Которых в бою обнимал» (Тарханов).

И как только исчез строй, превративший Миснэ в простое название гостиницы, Медвежьи Игрища появились снова: в Юильске (1991), а потом и в Полновате, в Кышике... Они были организованы по инициативе ассоциации «Спасение Югры» и Ханты-Мансийским центром культуры и искусств народов Севера. Дело в том, что утрата земель кланами и ненасытный аппетит промышленной разработки поступили вопреки интересам и психике народа манси. Отныне вся энергия коренных лидеров 1990-х годов направлена на возрождение духовной культуры. Даже если нужно бороться с самыми ассимилированными поколениями соотечественников – теперешними должностными лицами в учреждениях типа Комитет Севера, которым «совершенно не важно, что происходит там, в лесу».

Урок образцового брата оборвался, как это невозмутимо предчувствовала в один дождливый день бабушка Матры Вахрушевой при виде молодой русской учительницы, зашедшей за её внучкой: «Приехала какая-то молоденькая девчонка. Нос вытереть не умеет, а уже учить хочет» (Вахрушева). В самом деле, подобно Двуглавному орлу, унесённому противоположными октябрьскими ветрами, образцовый брат удалился. И в то время как ненка Нина Ядне резко хлопнула дверь перед носом этого брата, который считал себя выше всяких подозрений, старый манси Трофим, поборовший в «Двух охотниках» свои сомнения и подчинившийся давлению своих собственных детей, заручившись будущими поколениями, снова оказался перед самим собой: «Время. Время родиться. Время расти. Время сопоставлять. Время думать. 1844 год. 1994 год. Идолы и идолопоклонники в тайге. Идолы и идолопоклонники в мире. Гитлер, Муссолини, Сталин... Уверенный шаг капитализма... Кризис социализма. Инфляция, безработица, СПИД... выносят из Мавзолея Ленина. Жириновский рвётся к власти...» (Шесталов).

Жестокое время, о чём каждодневно свидетельствует Надежда Алексеева, председатель правления родовой общины Сыгва: «80 лет приучая наши народы к иждивенчеству, вдруг сразу бросить их в омут рынка».

Советский опыт, его счастья и несчастья глубоко повлияли на коренные народы, и в частности на мировоззрение по отношению к самим себе. Зажигательная эпопея письменности, начатой «национальными» биографиями, которые оправдывали право первородства образцового брата и торжествовали неразрывную солидарность советской семьи, оканчивается на горькой констатации: «Мансийская жизнь сохранилась буквально в нескольких посёлках – это Кимкъясуй, Ломбовож, Хурумпауль, верховья рек Ляпина и Сосьвы» (Гоголева).

Много было утрачено при советском режиме. Н. Новикова, которая прибыла на Конду в 1977-м и 1998-м, свидетельствует, что «сегодня найти человека, знающего кондинский диалект мансийского языка, очень трудно. И те сведения, которые я записывала 20 лет назад, сегодня не знают даже старики. Я разговаривала с некоторыми людьми и напоминала им о том, что здесь было 20 лет назад, и тогда они могли это вспомнить». Настоящее положение манси в Российской Федерации остаётся трагически шатким. Е. Фёдорова боится, что в ближайшее время «многое из традиционной культуры сохранится только в музейных коллекциях». Ольга Иженикова, которая родилась в посёлке Кондинское, описывает тревожную ситуацию: несмотря на традиционные богатства, представленные лесом, ягодой, пушниной, дичью и самим кондинским народом, жизнь тех, кто остался в посёлке, серьёзно ухудшилась в начале 1990-х годов. В том числе и с точки зрения культуры, агонизирующей как среди пенсионеров, «мирно доживающих свои дни», так и среди молодёжи, «пустившейся во все тяжкие». Там, где процветала жизнь, остались только позор и рубцы «варварского освоения»: целые улицы пустых домов, водка, табак, наркотики. В то время как медикаменты, продукты, бытовая техника и товары народного потребления стали неуловимы. Государство, озабоченное природными

богатствами Севера, забыло Северян. Образцовый брат сбился с пути мансийских «звёзд» и открыл путь признанному брату. Медведю, конечно. Или просто той части себя, которую пришлось поставить в скобки. Той части себя, ампутированной в прошлом, но болезненной до сих пор, которая побудила Надежду Алексееву организовать детский этнографический лагерь для детей Саранпауля, «ведь многие дети очень долго ничего не знали о своих предках: откуда они появились, чем занимались в древности, каким поклонялись богам и какая культура за ними стояла». Которая побудила мансийские семьи возвратиться в «неперспективные» деревни Хошлог и Хурумпауль.

В области литературы признанный брат уже вернулся. В глазах Валентины Селиверстовны Ивановой он имеет черты Бога. Валентина родом из посёлка Сосьва, «до сих пор вспоминает тёплый чум и звёзды, которые так хорошо видны с нарт» (Северская). После кочевого детства (до пяти лет) с родителями и оседлого образа жизни в посёлке Валентина Селиверстовна поступила в Ленинградский пединститут, домой она возвращалась только летом. Приняв предложение перевести Евангелие от Марка на родной язык, она обогатила мансийскую литературу XXI века, предоставив, таким образом, слово носителям языка. И эта священная миссия вернула Сосьве её *блудного сына*: Валентина покинула огни города, чтобы жить на землях, украденных у древней хозяйки реки Сосьвы. На земле своих предков. Больше века – после первого перевода Евангелия от Матфея Г. Поповым на кондинский диалект в 1878-м («Марк написал хорошие вещи»). Это свидетельствует о жизненной энергии и подписывает новую главу эпопеи народа манси на их собственном языке.

Признанный брат – им могут быть и аборигены нового жанра: русские. Те белокожие, проживающие на территории хантов и манси, которые, подобно Маргарите Анисимковой, сегодня черпают вдохновение из туземного фольклора или наподобие Александра Силина передают забытую версию «Монти Танья», записанную со слов неграмотного сказителя Семёна Фёдоровича Покачева. Или те, кто принимает участие в духовном возрождении коренных народов и присутствует на сегодняшних ритуалах рядом с туземцами (Алексеева).

Наконец перед глазами Ювана Шесталова снова появился Антал Регули. В своём эссе «Регули» мансийский писатель исследует память веков. После идеологической мечты братства чувствительная мечта братства с другими финно-угорскими народами, наметившаяся в поэме «Юлиан», полностью раскрывается. В частности, 4 декабря 1843 года, когда молодой венгерский путешественник приезжает в Верхотурье, первый «вогульский город», преследуемый топонимией невидимого народа и легендарной тенью мансийской крепости, но населённый русскими колонистами: «служащие, ростовщики, торговцы». Искатели золота в Богословском, откуда вогулы бежали, не выдержав попреки белокожими людьми чрева Матери-Земли: «У них есть гордая пословица: на свете есть два господина – царь и плательщик ясака» (Шесталов). И в конце концов Антал Регули встречается с этим народом, из колыбели которого он был вырван: Бахтияр и Юркин, «отловленные» сенатором Боровковым где-то на берегах Лозьвы; недоверие сородичей Бахтияра, с

леденящим душу взглядом, прямостоящих, подобно идолам, и облачённых в оленьи шкуры; супруга Юркина, с тонким птичьим лицом и засохшими руками, взывающими к смерти... Юван Шесталов переписывает историю: через подлинные материалы, сновидения поэта и человеческую память он восстанавливает, частица за частицей, пазл, разбросанный по обе стороны Урала, узурпируя иногда место Регули. Он то ведёт роль рассказчика, то является двойником Антала Регули, превращаясь один в другого через зеркало писательского почерка. Их поиск соединяется и укореняется в потерянном братстве, или, лучше, в признанном братстве. Сказ Шесталова смешивает все времена, уничтожает, подобно устной литературе Севера, все границы между мирами: у хантов женщины превращаются в лодки и мужчины – в молоты (Айпин); ненец Вавлё Ненянг стал мышью и птицей, дабы избежать царской полиции (Ядне); росомаха – бесплодная богиня, сброшена с неба её мужем Тапал-ойки (Шесталов), а храбрец Ивыр женился на дочке воды, Витсам: «Бабушкой будет Земля мне, матерью будет Река мне, нянькой – Волна. Я в озёрах выросла, волны качали, а пеленали туманы с детства меня» (Конькова). Юван Шесталов рассказывает, идеализирует, развлекается, приукрашивает, удивляется, омрачается от страницы к странице. Сам по себе или с Анталом Регули. Оба ищут друг друга глазами; и в каждом манси венгр хочет видеть венгра, в каждом венгре манси пытается увидеть манси. Впрочем, Регули, по словам манси, был «тот человек, которого богатые манси послали издалека, где небесный медведь располагается на отдых» (Шесталов).

Сам Шесталов не делает из этого тайны: его почерк не является точной наукой. Писатель беспокоится лишь о Мощ-Мир, мудрость которых основана на «альтеричности», то есть на признании второго «я». «Пришёл к нам из ЭНКЫРМА, из МАТЕРИНСКОЙ ЗЕМЛИ, наш милый БРАТ. Он выучил наш язык. Скажите, многие ли учат наш язык? Разве русский может выучить наш язык? Только настоящий брат по-настоящему хочет узнать настоящую нашу жизнь и землю. Примем его так, насколько хватит нам сердца. Дадим ему то, что у нас есть: рыбу, мясо. Покопаемся в чуланах, даже в наших священных таёжных капищах, может, найдём не только весёлые Шутки, песни, но и мудрые слова наших общих предков» (Шесталов). «Амулет спасения – нашего спасения – в наших руках. Признанный брат – это ещё и целостность бытия».

Двухсторонняя схема составляет ось, по которой связаны произведения Шесталова: герои находятся между терзаниями неизбежной историчности (ясок белого Царя, поцелуй Иуды, насилующий тайгу) и невозможным возвращением к мифу, символизированному возобновлением образа дедушки. Подобно рассказчику, не принимающему участия ни в каком действии, Ювану Шесталову остаётся лишь компенсирующий акт: писать. Но вернёт ли ритуал письма мансийского писателя на землю свою? Юван Николаевич около 40 лет жил в Ленинграде. «Приехал я в Ленинград сиротливым манси, уехал из Петербурга известным поэтом». Мир Ась-ойки больше не существует. Утопический поцелуй Иуды блёкнет перед новым оружием бизнесменов. Но Юван Шесталов не носит никакого траура.

В своём лишённом родины сне писатель вне пределов досягаемости. Он отказывается от соотношений сил. Тот, кто не является ни манси, ни русским, больше не подвержен боли, он просто пишущий человек. Наподобие героя Эква-Пырища, исследующего другие миры, Шесталов удалился от родной земли. И над его когда-то собственным садом никто и ничто теперь не властно: ни вышки, ни нефтепроводы, ни факелы, ни газопроводы. Тайга в нём самом. Тайга Шесталова намерена объять всё, как тайга Пантелея Еврина. Однако под пером писателя полнота и пустота сливаются. «Знаю одно, что у меня нет ОТЕЧЕСТВА. Три манси, знающие родную речь, по бедности своей не могут помочь, какие бы высокие научные цели ни поставили. Русские помогли мне стать писателем. Спасибо! С какой стати они будут лепить из меня финно-угорского националиста? Даже в лучшем, возвышенном значении этого слова. У меня нет Отечества. И обижаться мне не на кого. Только можно поплакаться перед Торумом» (Шесталов). Единственным Отечеством Шесталова, может быть, являются эти слова, которые он собирает и сочетает, произведение за произведением, создавая таким образом свою собственную Вселенную.

Перевод с французского
Надежды Варфоломеевой и Доминика Самсона